



В. А. СОЛЛОГУБ

## Симбирский театр

Я приехал в Симбирск - да будет вам известно, не в первый раз, и потому с приятным удивлением заметил на улицах двойную кайму дощатых тротуаров - роскошь, до того времени в Симбирске небывалую. Прежде симбирский год простодушно разделялся на две отдельные эпохи: на эпоху грязи и на эпоху пыли. Полгода симбирские жители тонули в различных грязях, отнюдь не целительных, а полгода протирали глаза, засоренные летучими песчинками. Теперь тротуары благотельно охраняют симбирское здоровье и симбирскую обувь и, кроме того, учреждение на улицах шоссе, как приятная мечта, улыбается в будущем городским обывателям и обещает им совершенное уничтожение главных неудобств их мирного существования. Однако мера эта только начала приводиться в исполнение, и потому я приехал в Симбирск еще в самый разгул пыльной эпохи. Приехав, я тот-

час пошел шагать по тротуарам и вцепился в первого знакомого человека, которого мог распознать под сероватым слоем, облепившим его с ног до головы. Мы, как водится, друг другу обрадовались. Он стал меня расспрашивать, что у нас нового в Петербурге; я стал у него расспрашивать, что у них старого в Симбирске? где мои старые знакомые и приятели? потому что, будь сказано между нами, симбирские приятели едва ли не понадежнее петербургских. Ответы получил я довольно неудовлетворительные: иные в деревне, другие за границей, третьи переехали за такую границу, из-за которой и возврата не бывает. Все это было довольно грустно.

- Ну, как же вы поживаете? - спросил я.

- Да четыре дня в неделю в клубе - и что за клуб, если б вы знали! В Петербурге нет такого клуба, разумеется, кроме Дворянского собрания.

- Ну, а остальное время?

- Остальное время у кого-ни-

будь из нас собираемся...

- Это что такое, - прервал я его, указывая на неизвестное мне строение, появившееся в конце широкой улицы, посреди которой предположено сделать со временем бульвар.

- Это, сказал он, это наш театр. Его недавно выстроил кондитер. Порядочное здание.

- И актеры есть? - спросил я.

- Как же, теперь есть. Из Саратова приехали.

- И часто играют?

- Почти каждый день. Я, впрочем, не бываю.

- Плоховаты, видно.

- Разумеется, дрянь.

- И смотреть не стоит?

- Помилуйте, как можно, особенно Вам, после Петербурга!

Мы расстались... Но все-таки как русскому литератору отвернуться хладнокровно и презрительно от храма муз, сооруженного кондитером посреди приволжских степей? К тому же, если говорить всю правду, погода становилась несносная: на улице шел осенний снег, дул низовой ветер. Эпоха грязи решительно наступала. Томимый тяжким угрызением совести, я отправился в театр и подал Аполлону целковый рубль, в дань своего раскаяния. Аполлон, принявший на этот раз черты старого кассира, взглянул на меня с тем удивлением, которым вообще удостоивают в провинции незнакомых людей, и подал мне на выбор целую груду



билетов, из чего и заключил я, весьма основательно, что сбор должен быть незначителен. Я вошел в залу. Театр невелик, но



выстроен умно; два ряда лож, партер, места за креслами - все это чистенько. Видно, кондитер мастер своего дела. В партере сидело два человека в шубах; в местах за креслами терпеливо дожидался татарин; кроме того, кое-где пестрели еще две или три дамы, с накинутыми на голову платками. Несколько тусклых ламп сонно освещали эту новую степь, воздвигнутую посреди симбирской степи. В оркестре дремало человек пять музыкантов, при слабом мерцании нагоревших сальных огарков. На душу ложилось какое-то неприязненное чувство бедности, грусти и пустоты. Сердце мое сжалось; я искренно пожелал, чтоб актеры были из рук вон плохи.

В это время капельмейстер снял со свечей и подал знак: скрипка взвизгнула, альт ошибся, виолончель опоздал. Это обозначало аккорд. Я был очень доволен, но, не знаю, почему, мне смеяться не хотелось; оркестр, прихрамывая на все пять инструментов, продолжал таким образом какую-то непостижимую симфонию, от которой у Бетховена, верно, бы сделалась горячка. Лучше и быть не должно, думал я. Поднялся занавес, и громкий здоровый голос суфлера начал потрясать своды театра. Я был в восхищении.

Но тут восхищенью моему скоро был конец. Первую пьесу сыграли порядочно. Мне стало совестно; мне хотелось было остановить актеров, попросить их не церемониться, не терять напрасно голоса и времени, а сказать что-нибудь, что им угодно, на скорую руку, да и отпустить нас с миром по домам. Не тут-то было. За первой пьесой последовал водевиль. Вообразите мой ужас, мое отчаяние! Его сыграли не то что посредственно, не то что порядочно; его сыграли превосходно: его сыграли так, как разве играют в Александрийском театре, в бенефисный день, когда зала трещит под зрителями, а кассир начинает уж отвечать неохотно на напрасные требования билетов. В пьесе участвовали четыре лица, и все играли не только удовлетворительно, но замечательно хорошо. В особенности актриса, исполнявшая роль тещи, поразила меня естественностью и свободой своих движений, благородством голоса, что для русской актрисы немаловажно, и глубоким комизмом. Я схватил афишку и отыскал имя г-жи Ершовой. Слыхали ли вы, читатель, когда-нибудь про г-жу Ершову? Я, по крайней мере, грешный

человек, и не подозревал ее существования. На петербургской сцене для ее ролей нет решительно никого, и грустно мне было видеть такое блестящее дарование в темном сарае, где судьями сидели две шубы, татарин да я, зашедший случайно в театр.

Надо по всей справедливости прибавить, что г-же Ершовой усердно содействовали двое молодых актеров, г-н Михайлов и г-н Залеский. У обоих есть неподдельное призвание; но скажите, ради бога, какое призвание может окрепнуть и развиваться пред этим мертвящим равнодушием публики? И зачем им трудиться, с какою целью? Что у них впереди и чем живут они? и что такое театр в провинции? Есть ли у него какое-нибудь значение и кому он нужен, скажите из милости.

Я невольно взглянул на шубы. Енот задел меня рукавом, извинился и завязал разговор.

- Вы недавно, кажется, изволили приехать?

- Нет, около уж трех месяцев.

- Как вам нравится наш театр?

- Да очень нравится, слишком нравится. Я решительно не понимаю, отчего так мало посетителей.

- Холеры боятся, - отвечала молчаливая дотеле шуба, с явным желанием оправдать своих сограждан перед чужим человеком.

- Нет, - сказала, вздохнув, первая шуба, - главная у нас холера - карты, вторая у нас холера - лень, третья холера не что иное, как совершенное отсутствие в нас драматической стихии и, следовательно, совершенное равнодушие к драматическому искусству.

- Помилуйте! - воскликнул я, - да это страшное обвинение. Повторите, пожалуйста. Вы говорите, что в нашей жизни нет драматического элемента.

- Так точно!

- Вы говорите обо всем русском народе?

- Так точно!

- Без исключения?

- Без всякого исключения!

- Так позвольте же вас остановить с первого слова: разве вы не знаете, что в русском народе есть два народа: один бритый, а другой небритый; один ходит во фраке, а другой в зипуне; один гибнет от запада, а другой сохраняет неприкосновенную нацию.

Шуба нетерпеливо пожала своим меховым воротником.

- Все эти подразделения, - продолжала она, - ничего не доказывают. В каждом народе вы видите особый, свойственный его физиономии тип или, если вам угодно, первообраз. То же самое найдете вы и в психологическом отношении, как потрудитесь только отбросить все, что зависит от наружных привычек, от образа жизни и условий достатка. Поверьте, русский барин гораздо ближе к русскому мужику, чем к иностранному аристократу... Франт, пропивающий шапку в кабаке, действуют по одному началу. В каждом народе или в каждом человеке два начала: начало чувственное, начало духовное. Начнем с темной стороны и будем говорить правду. Что омрачает наш народный характер? Что поро-





дается в нас чувственностью? - беспечность, лень, пьянство, корысть посреди расточительности, карты, лихоимство и воровство. Все эти грустные свойства более или менее отражаются во всех слоях нашего общества. В других народах безнравственность ведет к чувственности; у нас беспечная чувственность ведет иногда к безнравственности. Самая же безнравственность - стихия для нас чуждая, и этим мы обязаны нашему святому духовному началу. В нем наша сила и крепость, в нем наша твердая, непоколебимая вера, без которой нет благодати. Эти свойства, или зачаток этих свойств, вы найдете почти в каждом русском, как бы он ни был одет и какую кличку бы ни назывался. Не верьте, ради бога, тем, которые станут вам говорить, что мы распались на части, что русский народ разделился на славян, немцев, французов и многие еще небывалые племена. Мы, как во времена оныя, все те же русские - и слава богу! Иной и слова родного не знает сказать правильно, а по складу ума своего, природным привычкам и душевным потребностям такой же россиянин, как любой симбирский помещик, век не выползавший из своей берлоги.

- Ну, положим, - заметил я, - что вы некоторым образом и правы. Да что ж этим доказывается?

- Этим ничего не доказывается, а опровергается только мнение ваше относительно раздробления нашей народности. Теперь мне остается доказать, что в этой сплошной народности ощущается недостаток драматизма — не так ли?

- Так точно. Объясните же, пожалуйста, любопытно послушать.

Шуба высморкалась и начала довольно важным тоном:

- Начнем с языка. Что поражает вас в русском языке? - обилие букв, обилие звуков, невероятная полнота, роскошная картинность, т. е. описательность, в самом механизме слова, в преданиях и песнях нашего народа. В этих бесспорно лучших произведениях нашего родного гения выражается не борьба, не страсть - нет, от них так и веет тихим спокойствием, теплым чувством веры и покорности. В них вполне выражается начало семейное. Семья, община, монархия - вот основа нашего политического образования. Вы, надеюсь, в этом не сомневаетесь.

- Сохрани меня бог! - воскликнул я.

- Очень хорошо. При таких понятиях личность, разумеется, исчезает. Сличностью исчезают борьба, требование, страсть, одним словом, драма. Начало семейное обнаруживает, несомненно, чувство долга, чувство обязанности, чувство безусловной покорности жизни и Провидению. Светлая, прекрасная сторона русской народности! Она отражает веру в самой жизни, и уже одной покорностью владычеству и торжествует над людской гордыней. Признаюсь вам, в нашей мнимой бедности я вижу источник неисчерпаемого богатства. В недостатке драматизма и заключается, может быть, тайна настоящего

величия русского народа, залог его высокого, несомненного призвания.

- А литература? - заметил я едва внятным голосом, - а искусство?

- Литература может и у нас процветать, в особенности если мы обратимся к возможным источникам, к родникам отечественным. Да и что такое литература везде? - слабый отголосок народного голоса, иногда даже просто звук фальшивый и ненужный в стройном концерте. Извините... вы тоже, кажется, литератор?

- Не знаю, право; да вы этим не смущайтесь.

- Наша или, лучше сказать, ваша литература только может подтвердить мои слова. В ней нет ни резко вымысла, ни нового художественного создания - вот вам лучшее доказательство, что народность воп-



лощается в жизни. Вы все подметили, все списали метко, ловко, умно, насмешливо, иногда даже с горячим чувством, с светлой восторженностью; но вы ничего не выдумали, ничего не изобрели. У нас преобладает наглядность - следствие нашего спокойствия, и нет вымысла, плода тревоги. У нас могут быть отличные актеры, чему вы и ныне видите пример, но не будет самобытной драмы - и слава богу! Наша словесность, наше слово выше личности, выше страсти, выше драмы. Когда народы устанут от борьбы и драмы, они обратятся к нам. И наше слово - слово народное, слово знаменательное, будет словом примиренья. Итак, утешьтесь, что водевили наши скучны, что в театре никого нет... Со всем тем, г-жа Ершова - женщина с большим дарованием, и жаль, что ее не ценят по достоинству. Однако пора, кажется, и по домам.

Действительно, последняя пьеса кончилась. Татарин мирно спал на скамейке. Дамы с накинутыми на голову платками исчезли. Капельмейстер надел бережно что-то похожее на тулуп, погасил сальные огарки, понюхал табак и вышел. Мы безмолвно за ним последовали.

Рисунки Александра Давыдова